

ПУТЬ
СОЛДАТОВА

Детство Солдато́ва

Книга 1



Alexander Grigoryev



Путь Солдато́ва

Александр Григорьев

Детство Солдато́ва, книга 1

«Автор»

2026

Григорьев А. С.

Детство Солдатова, книга 1 / А. С. Григорьев — «Автор»,
2026 — (Путь Солдатова)

Крестьянский сын — бабий угодник, заступник от нечисти. Рождённый от случайной связи, он с детства впитывает мир, где тело — лишь работа. Его дар чують упырей и небывалая сила делают его тайным сокровищем деревни. Но молва доходит до скучающей барыни. И парня забирают в усадьбу, где начинается новый путь.

© Григорьев А. С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ I. КОРНИ	5
Глава 1. Постой	5
Глава 2. Ужин	6
Глава 3. Сговор	7
Глава 4. Первая ночь	8
Глава 5. Ветер перемен	9
Глава 6. Проводы	10
Глава 7. Тягота	11
Глава 8. Женский совет	12
Глава 9. Роды	13
Глава 10. Солдатский	14
Глава 11. Хилый	15
Глава 12. Шептунья	16
ЧАСТЬ II. ТЕЛО КАК ДАННОСТЬ	17
Глава 13. Ночь у болота	17
Глава 14. Перепёк	18
Глава 15. Второе рождение	19
Глава 16. Наказ	20
Глава 17. Рост	21
Глава 18. Старший брат	22
Глава 19. Изверг	23
Глава 20. Свадьба	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Детство Солдатова, книга 1

ЧАСТЬ I. КОРНИ

Глава 1. Постой

Зима в тот год выдалась лютая. Мороз крутил так, что деревья трещали, а снег под ногами визжал, как поросёнок. В Зеленуху сотня солдат вошла затемно, когда бабы уже управлялись со скотиной, а мужики сидели по избам, грелись у печей. Староста, суетливый мужичонка с вечно слезящимися глазами, бегал по улице, разводил постой.

В избу Степана постучали, когда ужин уже стыл на столе. Степан крикнул, глянул на жену, на ребятишек, что жались на полатах, и пошёл отворять. Ввалились двое: один пожилой, с седым усом, другой – молодой, гладкий, с ясными глазами. Степан покосился на молодого, но молча махнул: проходите, мол.

Солдаты скинули тулупы, разулись, полезли к печи греться. Анисья, жена Степанова, стояла у стола, теребя край передника. Молодой оглядел её с ног до головы, хмыкнул одобрительно и отвернулся к огню. У Анисьи лицо вспыхнуло, но она тут же опустила глаза и принялась накладывать в миски.

Ужинали молча. Степан подливал самогон, солдаты пили, закусывали хлебом. Старый вскоре захмелел, полез на полаты, к детям, и захрапел. Молодой сидел, смотрел на Анисью немигающим взглядом. Степан мялся, теребил бороду, потом встал, кивнул жене и вышел в сени. Молодой поднялся следом.

В сенях Степан долго сопел, мял шапку, потом выдохнул:

– Ежели баба тебе надобна... ночью, то... ну, в общем, дело хозяйское. Долг, стало быть. Неча мёрзнуть одному-то.

Молодой усмехнулся, хлопнул Степана по плечу – тот аж присел – и вернулся в избу. Степан постоял ещё, глядя в темноту, потом плюнул и поплёлся на полаты, к храпящему старику.

Анисья уже убрала со стола, сидела у печи, грела ноги. Молодой подошёл, сел рядом. От него пахло конским потом, махоркой и чем-то ещё, чужим, но тревожащим. Он тронул её за плечо, и она не отстранилась. Сама не поняла почему.

В избе было темно, только лампадка перед иконой теплилась алым. За занавеской уже посапывали ребятишки. Молодой взял Анисью за руку, потянул за собой. Она встала, как во сне, пошла.

Глава 2. Ужин

Солдаты расположились быстро, будто век тут жили. Старый скинул тулуп, разулся, полез на лавку к печи – погреться. Молодой остался у стола, крутил в руках ложку, поглядывал на Анисью. Та хлопотала у печи, доставала чугуны, резала хлеб, а спиной чувствовала взгляд – липкий, тяжёлый, как смола.

Степан достал из подпола жбан с брагой – угостить постояльцев полагалось. Налил всем, себе тоже. Выпили. Старый крякнул, похвалил:

– Добрая у тебя, хозяин, брага. Хмельная, а на ногах стоишь.

– Сами гоним, – ответил Степан, утирая усы. – У нас в Зеленухе все гоним. Лес рядом, ягода есть.

Молодой молчал, хлебал щи. Ложка ходила ровно, без спешки. Анисья стояла у печи, не зная, куда сесть – в избе тесно, лавки заняты. Старый подвинулся, хлопнул ладонью рядом:

– Садись, хозяйюшка, не стой. В ногах правды нет.

Анисья глянула на Степана. Тот кивнул – садись, мол. Села на краешек, руки на колени сложила. Молодой перестал хлебать, поднял глаза, усмехнулся. И тут под столом она почувствовала – нога его, тяжёлая, в солдатском сапоге, прижалась к её ноге, чуть выше щиколотки.

Анисья дёрнулась, будто током ударило. Отодвинулась – нога последовала за ней. Прижалась плотнее, погладила по голени, по щиколотке, пальцем провела. У Анисьи лицо вспыхнуло, кровь бросилась в щёки. Она глянула на мужа – Степан смотрел в миску, жевал хлеб, не поднимал глаз. Видел? Не видел? А может, и видел, но молчал.

Старый солдат усмехнулся в усы, глядя на них. Взял жбан, налил себе ещё:

– Эх, хорошо у вас, тепло. А мы вон по морозу трое суток шли, ночевали в сёлах, где придётся. Иногда и под открытым небом, коли избы не хватало.

– Тяжело, поди, – поддакнул Степан, не поднимая глаз.

– Служба, – отрезал старый. – Царю служим, родине. А ты, хозяин, чем кормишься? Земля, поди?

– Земля, – кивнул Степан. – Пять душ, скотина. Тем и живём.

Молодой тем временем ногу не убирал. Наоборот, поднял выше, по колену провёл, по бедру, подол задрал чуть. Анисья сидела ни жива ни мертва, вцепившись руками в лавку. Хотела встать – не могла, ноги не слушались. Хотела крикнуть – язык прилип к гортани.

Старый всё видел. Усмехнулся, покачал головой:

– Молодой ты, хозяйюшка, ещё. Деток-то сколько?

– Двое, – выдохнула Анисья.

– Хорошо. Ещё нарожаешь. Вон мужик у тебя крепкий, – кивнул на Степана. – Не пропадете.

Молодой убрал ногу. Анисья выдохнула, вся дрожа. Встала, отошла к печи, схватилась за ухват, будто ища защиты. Молодой проводил её взглядом, усмехнулся и снова уткнулся в миску.

Ужин кончился. Старый полез на полати, к детям, захрапел сразу. Степан собрал посуду, понёс мыть. Молодой остался сидеть, крутил в пальцах пустую кружку. Анисья стояла у печи, не шевелясь.

Глава 3. Сговор

Ночь стояла глухая, хоть глаз выколи. В избе после сытного ужина всё затихло. Старый солдат на полатах храпел так, что половики вздрагивали. Дети Степановы – старшая девка лет восьми да мальчонка шести – приткнулись к нему, как кутята к суке, и тоже спали, сопели в две дырочки. За занавеской Анисья лежала ничком, не шевелилась, только слышно было, как дышит – часто, со всхлипом, будто вот-вот разревётся.

Степан не спал. Лежал рядом с женой, глядел в темноту, слушал, как за стеной ветер гудит. Внутри всё кипело, но не злостью – чем-то другим, горьким и липким, от чего воротило нутро. Он знал, что будет дальше. Знал с той самой минуты, как молодой солдат переступил порог и уставился на Анисью своими бесстыжими глазами.

Долг хозяина. Так заведено испокон веку. Принимать постояльцев, кормить, поить и... давать бабу, если потребуют. Не писано это нигде, но знают все: откажешь – беды не оберёшься. Солдаты народ вольный, обозлятся – и избу спалят, и самих в расход пустят. А пожалуешься кому? Кому пожалуешься, когда сами господа солдат на постой присылают?

Степан сел на лавке, нашарил ногами валенки. Анисья дёрнулась, затаила дыхание. Он наклонился к ней, шепнул:

– Лежи. Я скоро.

Она не ответила. Только плечи вздрогнули сильнее.

Степан вышел в сени. Холод ударил в лицо, в грудь, перехватил дыхание. Постоял, привыкая. Лучину не зажигал – и так видно: на пороге, прислонясь к косяку, стоял молодой солдат. Ждал. Глаза его в темноте блестели, как у кота.

– Ну что, хозяин? – спросил он тихо, без насмешки. Просто спросил.

Степан подошёл ближе, встал рядом. Долго молчал, мял в руках шапку, которую сдуру захватил. Потом выдохнул:

– Ежели надо бабу... пользуй. Неча на ночь глядя глаза мозолить.

Слова вышли хриплые, чужие. Будто не он говорил, а кто-то другой изнутри.

Молодой кивнул. Спокойно так, деловито. Будто о дровах речь шла или о воде.

– Ладно, – сказал он. – Ты не бойся, хозяин. Я тихо. Бабу не испорчу.

Степан стиснул зубы до скрежета. Хотел сказать: «Она не баба, она жена мне», – но язык не повернулся. Да и что толку? Всё уже решено. Не им решено.

Молодой хлопнул его по плечу – легонько, но Степан аж присел – и шагнул обратно в избу. Степан остался в сенях один. Холод пробирал до костей, а он всё стоял, глядя в темноту, и не мог заставить себя войти.

Глава 4. Первая ночь

За занавеской было темно, хоть глаз выколи. Анисья лежала на спине, не шевелилась, только грудь вздымалась часто-часто, будто после тяжёлой работы. Степан ушёл в сени и не возвращался, а она знала – не вернётся, пока всё не кончится. Так заведено.

Молодой солдат откинул край занавески и забрался на лавку. От него пахло махоркой, конским потом и чем-то ещё, чужим, мужским, от чего внутри всё переворачивалось. Анисья зажмурилась, вцепилась пальцами в край тулупа, на котором лежала.

– Не бойся, – шепнул он, наваливаясь сверху. – Я не обижу.

Она сначала упёрлась руками ему в грудь – так, для виду, для порядка. Чтобы знал: не по своей воле, по нужде. Но он был тяжёлый, сильный, и руки её ослабели, упали вдоль тела. Тело само знало, что делать. Оно всегда знало.

Он вошёл сразу, без долгих предисловий. Анисья закусил губу, чтобы не закричать. Было больно – не так, как в первый раз с мужем, а по-другому, глубоко, до самого нутра. Но она терпела, только слёзы сами катились из глаз, щекотали виски, затекали в уши.

Молодой двигался ритмично, тяжело дыша. За занавеской слышно было только это – шлепки тел, скрип лавки, его прерывистое дыхание и её сдавленные всхлипы. В избе, на полатах, притворялся спящим Степан. Он лежал ничком, вцепившись зубами в край тулупа, и слушал. Каждый звук врезался в память, как ножом по сердцу. Рядом сопели дети, ничего не чуя, старый солдат храпел, уткнувшись в стену.

Анисья вдруг почувствовала, что боль уходит. Вместо неё приходит что-то другое – тёплое, тягучее, разливающееся по низу живота. Она задышала чаще, сама не заметив как, и выдохнула сквозь зубы. Молодой услышал, приподнялся на локтях, глянул ей в лицо. В темноте не разглядеть было, но она знала – усмехается.

– Хорошо? – спросил он, не переставая двигаться.

Она не ответила. Только отвернулась к стене и зажмурилась крепче. А внутри уже разгоралось то самое, знакомое, от чего в бане или в поле, бывало, сама себя доводила, когда мужа долго нет. Стыдно было, но тело не обманешь.

Кончил он быстро, дёрнулся, замер, выдохнул ей в ухо. Полежал немного, потом встал, натянул портки и вышел из-за занавески. Анисья осталась лежать, глядя в темноту. Между ног было мокро, липко, и она знала – это не просто так. Это семя.

Степан вернулся, когда солдаты уже спали. Лёг рядом, отвернулся к стене и ни слова не сказал. Анисья долго не спала, слушала, как он дышит – тяжело, с хрипом, будто тоже плачет, только без слёз.

Глава 5. Ветер перемен

Утро выдалось морозное, ясное. Солдаты поднялись затемно, старый кряхтел и матерился, молодой был молчалив и собран. Степан, не спавший всю ночь, вышел проводить их на крыльцо. Молодой на прощание скользнул по Анисье взглядом – коротко, будто прощаясь с вещью, – и шагнул в строй. Колонна тронулась, замелькали спины в серых шинелях, и скоро скрылась за околицей.

Анисья стояла у окна, прижав ладонь к низу живота. Внутри было странное чувство – не боль, не стыд, а какая-то тянущая пустота, смешанная с тревогой. Она знала, что с этой ночи что-то изменилось. Не только в ней – в доме, в отношениях со Степаном, в самой жизни.

День тянулся долго, муторно. Степан с утра взял жбан с брагой и сидел за столом, наливал стакан за стаканом. Анисья молчала, хлопотала по хозяйству, не глядя в его сторону. К вечеру он захмелел, но не буянил, только смотрел в одну точку и вздыхал.

В следующие дни стало ясно: прежней жизни не будет. Степан пил каждый вечер, работал спустя рукава, на Анисью косился с нехорошим прищуром. Она старалась не попадаться ему на глаза, всё больше возилась с детьми да со скотиной.

Прошла неделя, другая. Морозы не спадали, но Анисья чувствовала: в ней самой теплеет, наливается что-то новое. По утрам подташнивало, а к груди приливало так, что соски набухали, темнели. Она молчала, боясь признаться даже себе. Но когда пропали месячные, сомнений не осталось.

В тот вечер она сама подошла к Степану. Он сидел у стола, как всегда пьяный, уставившись в стену. Она положила руку ему на плечо, сказала тихо:

– Степан... я, кажется, понесла.

Он дёрнулся, обернулся. В глазах его, мутных от перегара, сначала мелькнуло что-то похожее на испуг, потом злоба. Он вскочил, схватил её за грудки:

– От кого? От солдата? Говори, сука!

Анисья не сопротивлялась, только смотрела ему в глаза спокойно и устало:

– Сама не знаю. Может, от тебя. Время такое... могло и от тебя.

Степан отшвырнул её, она ударилась плечом о косяк. Он сел обратно за стол, уронил голову на руки. Долго сидел молча. Потом поднял глаза – и в них была уже не злоба, а какая-то безнадежная тоска.

– Чтоб ты сдохла, – прошептал он. – И выродок твой.

И вышел вон, хлопнув дверью.

Глава 6. Проводы

А весна в тот год пришла дружная. Снег сошёл в неделю, и дороги обсохли, затвердели. Солдаты, стоявшие в Зеленухе целую зиму (вернулись ли те же или новые – Анисья не знала), собирались уходить. В деревне запахло талой водой и тревогой.

В то утро Анисья вышла на крыльцо и увидела его. Тот самый молодой солдат, отец её будущего ребёнка, стоял в строю, ровно печатая шаг. Но, поравнявшись с её избой, вдруг вышел из рядов, подбежал к крыльцу. Анисья замерла.

Он сунул ей в руку что-то тёплое, маленькое. Она разжала пальцы – медный крестик на суровом шнурке.

– Носи, – сказал он хрипло. – От меня. Авось пригодится.

И, не дожидаясь ответа, обхватил её лицо ладонями и поцеловал. Долго, крепко, при всех. По деревне пронёсся вздох. Анисья стояла ни жива ни мертва, чувствуя на губах его вкус – махорку, соль и что-то ещё, своё, уже родное.

Он оторвался, глянул в глаза – и побежал догонять строй. Даже не оглянулся.

Анисья смотрела вслед, сжимая крестик в кулаке. Слезы текли по щекам, но она не плакала. Степан стоял за спиной, тяжело дышал. Потом развернулся и ушёл в избу. Дверь хлопнула так, что с крыши снег посыпался.

Глава 7. Тягота

Лето выдалось жаркое, хлебное. Анистья работала в поле с утра до ночи, как и все бабы, но к середине дня её мутило. Тошнота возвращалась каждое утро, а живот начал округляться, и скоро уж не спрячешь под фартуком.

Сказать Степану боялась. Но он сам всё понял. Вернулся как-то с покоса, застал её у печи, глянул на живот – и лицо у него перекошилось.

– Это что? – спросил тихо, страшно.

Она молчала.

Он шагнул к ней, схватил за волосы, рванул к себе. Заорал в лицо:

– Я спрашиваю, это что?! Солдатское отродье носишь?!

– Степан, не надо... – только и успела выдохнуть.

Ударил он с размаху, наотмашь, по лицу. Анистья отлетела к стене, сползла на пол. Он схватил её, поставил на ноги и ударил снова – в живот, в грудь, по лицу. Бил долго, методично, пока рука не уставала. Анистья не кричала, только мычала глухо, закрывая голову руками.

В избе было тихо, только удары звучали да тяжёлое дыхание Степана. Дети сидели на полатах, забившись в угол, и не пищали. Боялись.

Наконец Степан выдохся. Отпустил Аниссию, оттолкнул к стене. Она упала на лавку, вся дрожа. Он стоял над ней, тяжело дыша, и смотрел с ненавистью.

– Чтоб ты сдохла, – прошептал он. – И выродок твой.

И вышел вон.

Анистья долго лежала, не шевелясь. Потом поднялась, доползла до лохани с водой, умылась. Губа рассечена, под глазом синяк наливается. Но внутри, там, где бил, что-то шевельнулось. Живое. Она прижала руки к животу и заплакала – тихо, беззвучно, чтобы дети не слышали.

Глава 8. Женский совет

Наутро после побоев Анисья не вышла в поле. Сидела дома, прикладывала к лицу мокрую тряпицу. Степан ушёл затемно, хлопнув дверью, и до сих пор не возвращался.

Ближе к обеду в избу постучали. Анисья вздрогнула, но голос был женский:

– Открывай, Анисья. Свои.

На пороге стояла Агафья, жена старосты. Баба дородная, с тяжёлой грудью и властным взглядом. За её спиной маячили ещё две – Марфа-повитуха да Дарья, вдова бойкая.

– Одевайся, – коротко бросила Агафья. – Пойдём ко мне. Разговор есть.

У Агафьи в горнице было чисто, пахло пирогами. На лавках уже сидели бабы – человек десять, всё больше пожилые, матерями семейств. При появлении Анисьи зашептались, закивали.

– Садись, – Агафья указала на лавку у стола. Анисья села, опустил глаза. Синяк под глазом налился багровым, губа распухла.

Агафья обвела взглядом собравшихся, подождала, пока стихнет шёпот, и заговорила:

– Бабы, дело у нас к вам. Про Анисью. Сами видите, что Степан с ней сотворил. И не впервой. А она, сама знаете, понесла. От того солдата, что зимой стоял.

Бабы закивали, загудели.

– Дитё это, – продолжала Агафья, – родом Анисьино. Наше, бабье. Солдат ушёл, а дитё останется здесь, в деревне, нашим будет. Нечего его изводить. И бабу нечего изводить. Поняли?

– Поняли, – ответили бабы хором.

– Тогда так. Степану скажем: ещё раз тронет – всем миром навалимся. Из избы выживем, ежели что. У нас баб много, а мужиков на стороне всегда найти можно. А ежели не уймётся – я его живо на место поставлю.

Бабы засмеялись, заулыбались. Анисья сидела ни жива ни мертва, боялась поверить.

Вечером к Степану пришли. Агафья сама, и с ней Дарья да ещё две бабы, покрепче. Степан только вернулся, сидел на лавке, пил. Увидел баб, нахмурился:

– Чего надо?

Агафья подошла близко, глянула в глаза:

– Ты это, Степан, слушай сюда. Анисью больше не тронешь. Ни пальцем. Дитё родит – твоим не будет, но в избе останется. А ежели ещё раз ударишь – мы тебя из деревни выживем. И никто за тебя не вступится. Понял?

Степан побагровел, вскочил, но под взглядами баб остыл. Плюнул под ноги и выскочил вон.

С тех пор Анисью он больше не бил. Пил по-прежнему, злился, но руки не поднимал.

Глава 9. Роды

Осень в тот год пришла ранняя, с холодными туманами. Анисья ходила тяжело, живот несла низко. В начале сентября, когда утренники уже прихватывали траву инеем, начались схватки.

Марфа-повитуха пришла быстро, велела вести роженицу в баню. Там было жарко, пахло берёзовым веником. Марфа постелила на полок чистую холстину, помогла Анисье забраться.

– Тужься, тужься, не жалея себя! – командовала она. – Ещё, ещё! Вижу головку, давай!

Анисья тужилась, выла, кусала тряпку. Пот лил градом, груди тряслись. Казалось, тело разрывается на части.

Марфа подхватила что-то мокрое, скользкое. Шлёпнула легонько – тишина. Перевернула, шлёпнула по задку сильнее – и тоненький, жалобный писк разорвал тишину.

– Живой, – выдохнула Марфа. – Да тщедушный больно. Не жилец, поди.

На руках у Марфы лежало что-то маленькое, сморщенное, синюшное. Анисья протянула руки, взяла сына, прижала к груди. Он завозился, ткнулся носом в сосок, зачмокал – слабо, еле-еле.

– Солдаткин, – прошептала Анисья. – Сынок...

Слёзы текли по щекам, смешиваясь с потом. Она смотрела на это тщедушное тельце и понимала: не жилец. Слишком слаб, слишком мал, слишком рано родился.

Марфа закончила с последом, под села рядом:

– Ты это, Анисья, не убивайся. Кому суждено жить – тот выживет. А кого боги прибрали – значит, так надо.

Анисья молчала, только крепче прижимала сына. Он сосал грудь, и от этого было тепло и больно одновременно.

В углу бани, там, где лучины не доставали, шевельнулась тьма. Анисья не видела, но солдаткин вдруг открыл глаза – мутные, ещё незрячие – и глянул прямо туда. Тьма замерла, не решилась приблизиться.

Глава 10. Солдатский

Младенца назвали не сразу. В Зеленухе имена давали не торопясь: выживет – окрестят, а нет – так и нечего Бога гневить. Но проходили дни, неделя, а солдаткин всё жил. Плохо, слабо, но жил. Лежал в зыбке, подвешенной к потолку, пищал тонко и грудь брал плохо – пососёт чуток и бросает.

Анисья не отходила от него. Забыла про хозяйство, про других детей, про Степана – всё бросила, только глядела на это сморщенное личико и молилась.

Бабы в деревне помогали кто чем. Марфа травы носила, Дарья молоком делилась, Агафья холстину на пелёнки дала. И все в один голос называли младенца одинаково:

– Ну как там солдаткин твой? Жив ещё?

– Жив, – отвечала Анисья. – Борется.

Так и прилипло. Солдаткин да солдаткин. Никто и не спрашивал, как по-настоящему звать.

Степан, видя такое дело, только зверел. Днём ещё крепился, а как выпьет – начинал орать:

– Выбрось выродка! Чтоб ноги его в моём доме не было!

Анисья молчала, прижимала сына к груди. А Степан, разойдясь, мог и замахнуться, но тут вступались дети. Старшая Глашка, девяти лет, визжала, Петька, шестилетний, за ноги хватал, не давал подойти. И Степан отступал.

Бабы, прослышав про это, взяли младенца под свою защиту. При встрече со Степаном смотрели волком, при нужде могли и словом резануть, а то и делом пригрозить. Степан злился, но утихал.

А солдаткин рос. Плохо, медленно, но рос. К трём месяцам голову держать начал, к пяти – сидеть пытался, а к году уже ползал по избе. И все, кто на него глядел, видели: глаза у него не детские. Слишком взрослые, слишком внимательные. Будто видит он то, чего другие не видят.

Глава 11. Хилый

Месяц шёл за месяцем, а солдаткин всё не рос. Лежал в зыбке, завернутый в тряпье, и пищал тонко, жалобно. Анисья к нему и днём и ночью – то грудь сунет, то водицы с ложки. А он берёт грудь плохо, пососёт чуток и бросает, засыпает. И спит, и спит.

Кожа на нём жёлтая, сморщенная, тельце лёгкое, тощее. Только глазёнки открывает иногда – мутные, незрячие, и смотрит куда-то в угол, где темно. А в углу том, где раньше мыши шуршали, теперь тишина. Даже мыши не бегают. Боятся.

Анисья извелась вся. Спать перестала, есть перестала, только и делает, что качает зыбку да молится. Травы заваривала, какие Марфа дала, в бане парила дитё – ничего не помогает.

Степан, видя такое, начал радоваться. Придёт пьяный, заглянет в зыбку, усмехнётся:

– Сдохнет, поди, солдаткин-то? Ишь, дохляк какой. Туда ему и дорога.

Анисья молчит, только крепче прижимает сына.

Однажды, когда уже совсем отчаялась, Анисья взяла сына на руки и пошла к бабке Марфе. Та сидела на завалинке, грела старые кости. Глянула на младенца, покачала головой:

– Плох твой солдаткин, Анисья. Очень плох. Не жилец он вроде.

– Что ж делать, бабушка? – взмолилась Анисья. – Научи, помоги!

Марфа долго молчала, потом сказала тихо:

– Есть одно средство. Только боязное. К Шептунье тебя надо. На болото. Она таких, как твой, перепекает. Коли выживет – сила в нём будет великая. А не выживет... значит, не судьба.

Анисья побледнела. Про Шептунью страшное говорили: что с нечистью знается, что детей крадёт. Но глянула на сына, на его бледное личико – и решилась.

Глава 12. Шептунья

Слухи про Шептунью ходили по округе страшные. Говорили, живёт она на болоте одна-одинёшенька, с нечистью знается, детей в печи запекает. Бабы её боялись пуще огня.

Но Анисье терять было нечего. Солдаткин совсем плох стал – не ест, не кричит, только дышит еле-еле. Ещё день-два – и помрет. Анисья собрала узелок: десяток яиц, холстину чистую, краюху хлеба да узелок с солью – и пошла.

Лес встретил её тишиной и сыростью. Тропинка петляла меж гнилых пней, под ногами хлюпало. Чем дальше, тем гуще висел туман, и в нём чудились голоса, шёпоты, всхлипы. Анисья крестилась, шептала молитвы, но шла, не останавливаясь. Солдаткин лежал за пазухой, тёплый, живой ещё.

Избушка Шептуньи стояла на краю трясины, на высоких пнях – и впрямь как на курьих ножках. Вокруг ни души, только вороны на голых ветках. Анисья перевела дух, поправила узелок и постучала.

Дверь отворилась сама. Внутри пахло сушёной травой, мышами и ещё чем-то древним, сладковатым. На печи сидела старуха – голая, худая, кожа да кости, груди висели до пупа, седые волосы разметались по плечам. Она глянула на Анисью, на свёрток, и засмеялась беззубым ртом.

– Солдаткина принесла? Давай сюда.

Анисья протянула сына, сама опустилась на лавку – ноги не держали. Шептунья взяла младенца, развернула, осмотрела. Понюхала, лизнула даже – Анисья вздрогнула, но смолчала.

– Квелый, – сказала Шептунья. – Но не безнадёжный. Чуешь? – ткнула пальцем в тёмный угол избы. – Там они ждут. Чуют, что свой. А он их чувствует. Отмеченный.

Анисья глянула в угол – и отшатнулась. Там, в темноте, шевелилось что-то бесформенное, чёрное, тянулось к ней, к ребёнку. Но под взглядом младенца – мутным, незрячим – эта тьма замирала, не решалась подойти.

– Спаси, бабушка, – выдохнула Анисья. – Чем хочешь заплачу.

Шептунья засмеялась опять, закашлялась.

– Ладно. Помогу. Только так: придёшь в полночь. Одна. Без узелков, без подарков. Сына принесёшь – и всё. А плата у меня своя будет.

– Какая? – спросила Анисья, холодея.

– Узнаешь потом, – отрезала Шептунья. – Ступай пока. В полночь жду. Опоздаешь – не поможет ничто.

Анисья взяла сына, прижала к груди и вышла. Лес встретил её той же тишиной, но теперь в ней не было страха – только надежда, хрупкая, как лёд на луже. Она шла и шептала: «Доживи, сынок, доживи до ночи. А там... там видно будет».

ЧАСТЬ II. ТЕЛО КАК ДАННОСТЬ

Глава 13. Ночь у болота

Анисья вышла из дому, когда луна уже поднялась над лесом – круглая, жёлтая, как глаз филина. Степан храпел на полатах, дети спали, никто не видел, как она кралась вдоль плетня, прижимая к груди тёплый свёрток. Солдаткин молчал, только дышал еле слышно, и от этого дыхания у Анисьи сердце разрывалось.

Лес встретил её стеной черноты. Тропинка, днём еле видная, совсем пропала, но Анисья шла по памяти, по каким-то своим приметам – сломанной ветке, старому пню, камню, поросшему мхом. Ноги увязали в мокрой траве, подол намок, отяжелел, но она шла, не останавливаясь.

Чем дальше, тем гуще становился туман. Он стелился по земле белыми космами, поднимался к ногам, к коленям, к поясу. В нём чудились голоса – шёпот, всхлипы, тихий смех. Анисья крестилась, шептала молитвы, но голоса не стихали. Наоборот, приближались.

– Анисья-а-а... – позвал кто-то из тумана голосом, похожим на Степанов. – Куда пошла-а-а? Вернись-и-ись...

Она не отвечала, только крепче прижимала сына. Тот вдруг открыл глаза – мутные, незрячие – и глянул в туман. Голоса стихли. Тьма отпрянула, сжалась.

Избушка Шептуньи выросла перед ней внезапно – будто из тумана соткалась. Стояла на пнях, кривая, покосившаяся, с единственным оконцем, в котором теплился огонёк. Анисья подошла к двери, постучала – та отворилась сама.

Внутри было жарко натоплено. В печи гудели угли, по стенам висели пучки трав, в углу стояла кадушка с водой, над ней клубился пар. Шептунья сидела на лавке, голая, как и в прошлый раз, и смотрела на Анисью чёрными глазами.

– Пришла, – сказала она без удивления. – Давай дитя.

Анисья развернула тряпки, протянула сына. Шептунья взяла его, положила на стол, осмотрела со всех сторон. Потом велела:

– Раздень его донага. И сама раздевайся.

Анисья вздрогнула:

– Зачем?

– Делать будем, – отрезала Шептунья. – Не бойся, не съем. Помогать будешь. А голой стоять надо, чтобы сила через тебя шла. Поняла?

Анисья не поняла, но подчинилась. Стянула с себя мокрую одежду, осталась нагая, дрожащая. Кожа покрылась мурашками, но в избе было тепло, и дрожь быстро прошла. Шептунья глянула на неё, на её налитое молоком тело, на тёмные соски, на располневший после родов живот, и усмехнулась:

– Хороша баба. Жаль, мужик дурак.

Она взяла младенца, положила на стол и начала что-то шептать, водя руками над ним. Солдаткин лежал тихо, не плакал, только глазёнками водил – за Шептуньей, за матерью, за тенью в углах. А тени там шевелились, тянулись, но приблизиться не смели.

Глава 14. Перепёк

Шептунья взяла из кадушки горсть мокрой глины, смешала с какой-то травой, начала обмазывать младенца. Солдаткин не сопротивлялся, только вздрагивал, когда холодное касалось кожи. Анисья смотрела, затаив дыхание.

– Глину эту с болота брала, – бормотала Шептунья. – В ней сила земная, материнская. И травы особые, от самого корня. Он в ней как в утробе новой полежит, переродится. Коли выживет, конечно.

Она обмазывала младенца тщательно, слой за слоем. Сначала ножки, тонкие, как прутики, потом животик, грудку, ручки. Солдаткин лежал смирно, только глазёнки блестели из-под грязной корки. Когда дошла до головы, оставила только маленькие дырочки для носа и рта.

– Дышать чем будет? – испугалась Анисья.

– А ты как думала? – усмехнулась Шептунья. – Не бойся, всё продумано.

Закончив, она оглядела дело рук своих. На столе лежало нечто, похожее на глиняную куклу в человеческий рост. Только глаза поблёскивали из щелок да грудь вздымалась еле заметно.

– Теперь в печь, – сказала Шептунья буднично, будто о хлебе речь шла.

Анисья ахнула, рванулась было, но Шептунья цыкнула на неё:

– Стой, где стоишь! Не мешай!

Она подхватила глиняную куклу, понесла к печи. Анисья зажала рот рукой, чтобы не закричать. Шептунья засунула младенца в жерло печи, прямо на угли – Анисья вскрикнула глухо, зажмурилась – и задвинула заслонку.

В избе стало тихо. Только угли гудели да ветер за окном выл.

– Теперь жди, – велела Шептунья. – Сколько надо – столько и просидим. А ты стой, не шевелись. Силу давай. Думай о нём.

Анисья стояла, не смея пошевелиться. Смотрела на заслонку, за которой пылал огонь, и чувствовала, как от неё самой тянется к сыну что-то невидимое, тёплое. Стояла час, два, три. Ноги затекли, спина занемела, но она не шевелилась.

Шептунья сидела на лавке, голая, страшная, и не сводила с печи глаз. Иногда она начинала шептать что-то на древнем языке, которого Анисья не понимала, и тогда угли в печи вспыхивали ярче, и жар разливался по избе.

Глава 15. Второе рождение

Время тянулось бесконечно. Анистья потеряла счёт минутам и часам. Ей казалось, прошла уже вечность, а может, только начало ночи. Она стояла, покачиваясь от усталости, но не смела присесть.

Вдруг из печи донёлся звук. Не писк – полноценный, здоровый крик. Заслонка отлетела сама, и оттуда выкатился ком глины, лопнул с тихим треском, и из него высунулась ручка – крепкая, розовая, с пальчиками-сосисками.

Анистья рванулась вперёд, но Шептунья опередила её. Подхватила младенца, обтёрла его тряпкой от остатков глины. Солдаткин орал во всю глотку, сучил ногами, и было в нём уже не полфунта весу, а все десять. Кожа его порозовела, тельце налилось, округлилось. Глаза глядели ясно, осмысленно, и в них уже не было той мутной пелены, что раньше.

– Готов, – кивнула Шептунья. – Теперь он твой по-настоящему. А главное – свой.

Анистья протянула руки, взяла сына. Он тут же нашёл грудь, присосался жадно, сильно, и молоко полилось само, горячей струёй. Она смотрела на него и плакала – впервые за долгие месяцы счастливыми слезами.

Шептунья отвернулась, залезла на печь и больше не проронила ни слова. Анистья поняла: пора уходить. Оделась, закутала сына в чистые тряпки, поклонилась в пол и вышла в ночь.

Лес расступался перед ней, туман таял, луна светила ясно, как никогда. Солдаткин спал на руках, улыбался во сне.

Глава 16. Наказ

Анисья стояла на пороге избышки, прижимая к груди завёрнутого в холстину сына. Солдаткин спал, ровно дышал, и во сне чмокал губами – искал грудь. За спиной, в полутьме, сидела на лавке Шептунья.

– Погодь, – сказала она вдруг. – Не уходи. Дело есть.

Анисья обернулась. Шептунья поднялась с лавки, подошла ближе. От неё пахло дымом, травами и ещё чем-то древним, земляным.

– Слушай меня, Анисья, – заговорила она тихо, но каждое слово врезалось в память, будто молотом по наковальне. – Молчи о том, что здесь было. Никому. Ни мужику своему, ни бабам, ни попу, ни даже детям, когда вырастут. Поняла?

Анисья кивнула.

– Теперь он отмеченный. Перепёкнутый. Сила в нём будет – не каждому дано. Чуть станет то, что другие не чувят. Нечисть, упырей, кикимор. И гнать их сможет, коли понадобится. Но и слабость его – там же. В этой силе.

– Не... не поняла, – выдохнула Анисья. – Какая слабость?

Шептунья усмехнулась беззубым ртом:

– А такая. Сила эта не просто так даётся. Она из него расти будет, как дерево из семени. И чем больше он её в себе носит, тем больше она его. А значит – и нечисть к нему тянуться будет. Чуть в нём родную кровь. Иные – бояться, иные – искать. Так что гляди за ним, мать. Учить будешь, как сама умеешь. И беречь.

Анисья прижала сына крепче.

– А ты... ты не поможешь больше? – спросила она робко.

– Нет, – отрезала Шептунья. – Моё дело сделано. Дальше сама. И помни: никто не должен знать. Никто. Если прознают – сглазят, испортят, украдут. Господам продадут, в солдаты отдадут, на опыты сведут. Всякое бывало.

Она повернулась к печи, взяла с полки узелок – маленький, тряпичный – и сунула Анисье в свободную руку.

– Вот. Травы тут. От хвори, от сглаза, от ночного крику. Как пригодится – заваривай, пои. И ещё... – она помедлила. – Если уж совсем худо станет, приходи. Только если совсем. Я стара, долго не протяну. Но пока жива – помогу.

Анисья поклонилась ей в ноги, до самого пола. Шептунья не остановила, приняла поклон, как должное.

– Ступай, – сказала она. – И не оборачивайся.

Глава 17. Рост

После той ночи у Шептуньи солдаткин словно подменили. Месяц не прошёл, а он уже голову держал, вертел ею во все стороны, глазел на мир живыми глазами. К трём месяцам сам сидеть начал, на лавке, подпёртый подушками, и гулил, будто разговаривал с кем-то, кого только он видел.

Анисья не нарадовалась. Молоко у неё прибыло, жирное, сытное, солдаткин сосал жадно, щёки надувались, и рос не по дням, а по часам. К полугоду его из зыбки вынули – не помещался уже. Переложили на лавку, застелив её тулупом. Он там лежал, дрыгал ногами, пытался перевернуться, ползти.

К году солдаткин ползал по избе бойко, как таракан. Доберётся до печки, ухватится за край, встанет на ножки – кривые ещё, тонкие, но стоят. Анисья ахала, бежала подхватывать, а он сердито отталкивал её ручонками: сам, мол, сам.

В полтора года он уже бегал. По избе, по двору, за курами. Куры от него шарахались, петух однажды клюнуть попробовал, так солдаткин его за хвост ухватил, дёрнул так, что перья полетели. Петух с тех пор обходил его стороной.

Степан косился на пасынка с нехорошим прищуром. Но не трогал. Опустил руку, чтобы за волосы дёрнуть или подзатыльник дать, а рука будто в воздухе застревает. И взгляд этот, солдаткинский, спокойный, немигающий, в самую душу заглядывает. Степан отводил глаза, плевался и уходил на лавку, пить самогон.

А дети Степана – Глашка да Петька – те, наоборот, к солдаткину лезли. То ушипнут, то толкнут, то игрушку отнимут. Сначала он терпел, только смотрел на них своими взрослыми глазами. А потом, когда подрос, начал давать сдачи. Не бил, нет – просто отталкивал, и так, что они отлетали к стене и долго сидели, хлопая глазами.

– Опять твой выродок балует! – жаловалась Глашка Степану. – Толкается!

Степан только отмахивался. Сам боялся, а дети пусть сами разбираются.

К двум годам солдаткин был ростом с трёхлетнего, а бегал так, что его и старшие ребята не догоняли. По деревне носился, с пацанами в лапту играл, в речке купался, голый, как все. Тело его окрепло, налилось, мышцы обозначились под кожей – не по-детски уже, по-мужски.

И взгляд всё тот же – спокойный, тяжёлый. Будто знает он что-то, чего другие не знают. И молчит. Мать велела молчать – он и молчал. Но видел всё. И чувствовал.

Глава 18. Старший брат

Старшему, Ярому, минуло восемнадцать прошлой зимой. И с той поры мать и жена старосты, Агафья, зажили одной думой – женитьбой. Яркий был ладный: широк в плечах, с крепкими, жилистыми руками, всегда готовыми к топору или сохе. Ходил он легко, по-звериному бесшумно, и девки на выданье при виде его опускали глаза и краснели до самых корней волос. Но для матери он был дитятей, которого следовало пристроить.

– Хватит бобылём-то, – говорила Агафья, сидя за столом и жуя сухую рыбу. – Кость нажил, пора мясо наращивать, свой род плодить. В Белом Бору есть одна. Молодуха. Дарья. Год как овдовела, парня оставила. Баба справная, грудастая, бёдра широкие – рожать ей и рожать. И парень у неё, говорят, здоровый, горластый, значит, семя у мужика было крепкое, да и у ней земля добрая.

Мать поддакивала, поджав губы:

– С дитём оно сподручнее. Значит, баба проверена, не пустоцвет. И Ярому сразу хозяйство, наследник подрастает. Своих-то ещё настрогать успеет.

Солдаткин тогда не понимал, почему Ярого это не радует. Он хмурился, отмалчивался. Солдаткин видел, как он смотрит на дочек соседских, как задерживается взглядом на их ногах, на изгибе спины, когда они воду носят. Его тело уже знало, чего хотело. Солдаткин замечал это по утрам, когда они вместе умывались на речке. Его уд вздымался сам по себе, большой и тёмный, и Ярый, не таясь, отворачивался к воде, плескал на себя, пока тот не опадал. Это было данностью. Плоть жила своей жизнью.

В день смотрин в Белый Бор поехали мать и Агафья. Вернулись довольные. Агафья, кряхтя, слезала с телеги и приговаривала:

– Добро. В самый раз. Дарья погляделась. Глаза у неё масленые стали, как Ярого имя слышала. Дело верное. Через седмицу и управим.

Глава 19. Изверг

За три дня до свадьбы в доме поселилась странная, звенящая тишина. Мать ходила с красными глазами, но не плакала. Агафья, наоборот, стала главной. Она велела Ярому вымыться в бане дочиста, не так, как обычно, а с настоем полыни, чтобы «смыть родовой дух».

– Ты для нас теперь, для баб, чужой, – объясняла она Солдаткину, видя его непонимание. – Он в девкин род уходит. Там его новая матка ждёт. А тут он должен помереть. Для всех баб этого рода.

Солдаткин не понимал, как можно помереть и не помереть. В день, названный «изводом», Ярому надели длинную, до пят, рубаху из грубого некрашеного холста. Белую, как смерть. Мать, увидев его в этом облачении, всхлипнула и закусил губу до крови. Яркий стоял посреди избы босой, с распущенными волосами, и лицо у него было каменное.

В углу, где обычно стояли образа, поставили длинный ящик – гроб. Сколотили его наспех из старых доски, пахнущих сыростью. Яркий молча лёг в него, вытянулся, сложив руки на груди. Рубаха сползла, открыв голые, сильные ноги до самого паха. Солдаткин смотрел на его уд, безжизненно лежащий в тёмной поросли волос, и ему становилось жутко. Он и правда был как мертвец. Вся его молодая, горячая сила, которую Солдаткин видел по утрам, спряталась, умерла.

Всю ночь в доме горела одна лучина. Мать и Агафья сидели рядом с гробом, негромко причитывая. Это были не слова, а скорее вой, тягучий и тоскливый, как вой ветра в трубе. Солдаткин сидел на полатах, забившись в угол, и боялся дышать. Ему казалось, что Ярый и правда умер. Что это не брат его, а чужой, холодный мужик лежит в ящике.

Под утро он уснул. Разбудил его громкий, надрывный плач женщин. Уже рассвело. В избу входили мужики – отец, дядя, соседи. Они были хмурые, серьёзные. Молча подошли к гробу. Агафья завyla в голос, мать упала на грудь Ярому, колотясь головой о доски. Мужики мягко, но настойчиво оторвали её. Отец взялся за край гроба.

– Пора, – сказал он глухо.

Солдаткин выбежал на улицу. Гроб вынесли. За ним, заливаясь слезами, валили бабы. Мужики пронесли его через всю деревню до околицы. Там, за последним плетнём, начинался мир – чужая земля, поле, дорога в Белый Бор. За околицу хоронить не носили. Туда выносили только «извергов» – тех, кто умер для своего рода.

Гроб поставили на траву. Мужики, не оглядываясь, ушли обратно в деревню, к бабам, которые всё ещё голосили. Солдаткин остался. Ярый резко сел в гробу. Белая рубаха взмокла от пота, прилипла к телу. Он глубоко, судорожно вздохнул, словно и правда вынырнул из воды. Огляделся, увидел Солдаткина.

– Иди в деревню, малец, – голос у него был хриплый. – Скажи... Да ничего не говори. Я сам.

Он встал, перешагнул через край гроба. Поднял узел, что лежал тут же, в ногах. В нём была его обычная одежда. Ярый быстро, не таясь, скинул с себя саван. Солдаткин снова увидел его тело – живое, сильное, голое, но теперь оно не казалось ему родным. Оно было телом другого мужика, чужого. Он натянул порты, рубаху, обулся. Потом посмотрел на Солдаткина в последний раз, кивнул и, не оборачиваясь, пошёл по дороге в Белый Бор.

– Яркий! – крикнул Солдаткин ему вслед.

Он не обернулся. У околицы стояла мать. Она смотрела ему в спину и плакала, но уже тихо, по-бабьи, не навзрыд. Солдаткин подбежал к ней.

– Мам, а он теперь кто?

– Изверг он теперь, сынок. Для нас чужой. Для другой бабы – мужик.

Глава 20. Свадьба

В Белый Бор Солдаткина взяли. Мать сказала: «Проводим да посмотрим, как дитё моё в новую семью входит». Они пришли к вечеру. Их встретили у околицы чужие бабы. Они с любопытством разглядывали Ярого, ощупывали его глазами, словно скотину на торгу. Дарья стояла чуть поодаль. Солдаткин узнал её сразу. Она была точь-в-точь как говорила Агафья: справная. Грудь высоко, туго обтянута рубахой, в руках – годовалый парень, пухлый, серьёзный. Она смотрела на Ярого не как бабы из их деревни – стыдливо и зазывно, а прямо, оценивающе, как смотрят на будущую опору. И в этом взгляде была не только надежда, но и плоть. Она уже знала, что ей нужно от мужика.

Повели их не в дом, а к большой избе, где жила главная женщина деревни – старостиха, высокая старуха с властным лицом и цепкими, как когти, руками. В избе было жарко натоплено, пахло травами и потом. Бабы расселись на лавках. Мужиков не было.

Старостиха подошла к Ярому, ощупала его плечи, спину, даже, не стесняясь, запустила руку в порты, пощупала там. Ярый стоял, не шелохнувшись, только желваки заходили на скулах.

– Ничего, – сказала старуха. – Добрый жеребец. Продолжишь наш род, парень. Но сперва – вход.

Солдаткину потом объяснила мать, что это за «вход». Ярый должен был переспать с главной бабой рода. С той, что держит в руках всю бабью силу, все тайны деревни. Сейчас этой бабой была старостиха. Только после этого он становился своим для их женской общины. Только тогда он мог войти в дом к Дарье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.